



Экран и сцена - 1998 -  
дек. (~48) - с. 4

## ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

# Александр Солженицын в объективе Александра Сокурова

Лев АННИНСКИЙ

Я думаю, знатоки кино поймут меня, если я сознаюсь, что в этой связке второй мне интересен не менее, чем первый. Может быть, вследствие такой предрасположенности одолела меня некоторая оторопь от той начальной сцены, где Сокуров задает вопросы жене юбиляра, и звучат они (из-за кадра) в таком духе:

— Разве вы не чувствуете, что вам недодано, что Александру Исаевичу ничего не прощают? Разве вам не обидно, что народ не замечает великого соотечественника? Что его книги не востребованы, не прочитаны? Что вам никто не помогает.

Наталья Дмитриевна, умная и чуткая душа, отыгрывает смущение. Нет, вру: не отыгрывает, а — перед скрытой камерой? — не может скрыть искреннего недоумения и неловкости. Нет, что вы, нам помогают. Нам не на что обижаться. Что значит "недодано" — счастье же не в том, чтобы тебе дали, а в том, чтобы ты дал.

Наконец, мучительный диалог прерывается репликой гостя:

— Скрипит? (Кабинет писателя — на втором этаже, над головами). — Перестал?

Хозяйка прислушивается и отвечает с материнской улыбкой:

— Не скрипит... Значит, он сел.

Вот тут все уже и смоделировано. Включая тот трепет, с которым входит к троице-лыковскому мудрецу всякий наш интервьюер. Это в крови у нас: гасить застенчивость странными вопросами. Нижеследующее замечание к Сокурову не относится, но я думаю, что грубость, которую по отношению к Солженицыну то и дело демонстрируют журналисты, — компенсация их неуверенности. Входят на полусогнутых и — от ненависти к своему смущению — хамят.

Александр Сокуров — сам замечательный художник — естественно, до такой пошлости (или подлости?) не опускается. Но невероятная робость и скованность ощущаются поначалу и у него, особенно в диалогах первой серии, когда он разговаривает с Солженицыным, гуляя по лесочку от скамейки до скамейки. И эти выжидательные паузы, и вопросы чуть ли не о погоде, а на самом деле о чем-то необъятном, как сам космос, да в конце концов и поза спрашивающего (кино все-таки!) — все это насыщено такой неловкостью, что делается не по себе.

"Синдром Ясной Поляны"... Если ты явился к великому писателю, то непременно беседуешь с ним о великих истинах. Чужая какая-то. Да у великого писателя все его великие истины — в текстах. И если он скажет элементарность (ну, допустим, что может питаться как попало и готов есть каждый день одно и то же), так уж мы-то эту элементарность как-нибудь свяжем с великими истинами в его книгах. Мы ж не только зрители фильма, мы ж еще и читатели. Тут каждый штрих на вес золота, и чем достовернее (элементарнее, повседневно), тем ценнее. А выведешь великого писателя на безлюдный пейзаж и разговор выведешь специально на глобальные материи — ну, и получишь какую-нибудь глубокомысленную банальность, а то и приказ номер шесть по армии искусств: всем жить не по лжи!

К счастью, кинематографист в авторе фильма берет верх над интервьюером. И Сокуров вырастает до Сокурова.

И тогда, наконец, начинает срабатывать первоначальный сценарный ход: все через частности! Через частную жизнь! Не задирает сразу голову к облакам — дать абрис быта. Любительский снимок: три сына. Солженицына сидят перед доской: отец, учитель математики, дает им урок.

И рассып рояля, еле слышная за кадром, — музыка семейная: играет один из сыновей, Игнатий.

Из этого климата величие вырастает "само собой", а не потому, что его ждешь или мобилизуешь.

Разговор обретает "нечаянную" глубину:

— Мне теперь досталось долголетие... Когда тебе восемьдесят, это совершенно новое состояние души. Можно оглянуться, взвесить жизнь как целое. А то все было на бегу, в борьбе. Человеку ведь самого себя понять непросто. Страх смерти? Нет. Вот на Западе у процветающих людей этот страх все время чувствуется. Нет, смерти не боюсь. Смерть — это просто переход жизни в другое состояние...

Говорит солженицынский — быстрый; голос — без бархата, "белый" и никакого артистизма: сама обыкновенность, просто умный человек. Но в этом говорке, и в отрешенной походке углубленного в себя человека (не улыбайтесь: когда-то и у Плеханова замечен был такой вот "монашеский шаг"), и во всей стати этого высокого старика. и в неожиданной доброжелательной контактности, идущей как бы "поверх всего", — во всем этом схватывается то, что не уложишь ни в какие интервью и комментарии и что подвластно именно киногении. Перед нами — уникально счастливый человек. И фронт прошел, и лагерь, и раковый корпус, а — счастлив! Гармоничен. Переполнен ощущением смысла. Знает, что много от Бога дано было, и что все вернул: ни один талант не закопал! И потому долголетие выпало: по делам.

Поразительные портреты... Сокуров замирает, вглядываясь в это лицо, обрамленное сединами, мечено шрамом. И — не выдерживает.

Вообще-то это его коронная манера: такой упор на медленную киногению. Вот из любой детали вызвать больше, чем есть. Сокуровский киногипноз: камера наезжает, всматривается, вливается в каждый волосок. Мне уже хочется остановить это сомнамбулическое всматриванье. Послушайте: волоски около уха — это уже не портрет Солженицына! Уберите эти сверхкрупности, в них начинает проступать что-то медицинское. Остановитесь на том, что палец у бывшего каторжанина покателен, но не висит на кончике пера, которое держат эти пальцы, и не вглядывайтесь в букву, которую пишет перо, — буква — это не текст.

К счастью, такие кинопередержки немногочисленны. И не в них суть. Суть — в портретах, которые прекрасны. Суть — в осмысленных интерьерах. Великолепна долгая, сокуровски пристальная панорама большого кабинета писателя — от окна, за которым — зеленая троице-лыковская сень, — через стол, заваленный листками, карандашами, ручками, — к малой в углу кухне, где писатель, "если захочет, может сварить себе картошки и вскипятить чай".

В этой ауре проговариваемые слова начинают выявлять сверхзадачу.

"Мы говорили с ним много часов и о многом".

"Много часов" не влезли бы в две серии фильма. "О многом" мне и не надо. Мне надо, чтобы через "немного" проступило — "все".

Это вовсе не значит, что я соглашаюсь со "всем", что говорит с экрана автор "России в обвале". Это значит, что я с ним взаимодействую, то есть слышу смысл киномонолога, а не только смысл слов.

Он говорит, что с Гоголя началось в русской литературе разоблачительство. У Щедрина оно дошло до крайней степени: горчица какая-то. В результате мы не знаем своего народа. Мы не поняли, с какой Россией мы пришли к 90-м годам. Упустила русская литература созидателя, упустила зжидителя. Упустила тех, кто строил державу, например, поднимал Сибирь. Естественно, имеются в виду те, кто строил и поднимал страну до 1917 года...

Разрешите повзаимодействовать? А вы, уважаемый автор "Архипелага", много ли зжидателей увидели? Тоже ведь гоголевскими и щедринскими глазами смотрели, и все больше на власть имущих, которые насиловали народ. А что, если эти власть имущие — из того же народа? И еще: после 1917 года, что же, не было зжидателей, и держава не крепла, и могущество ее не прирастало, в том числе и Сибирью? Да, ГУЛАГ страшен. Но синонимом острога Сибирь стала задолго до большевиков. Подымали ее не столько зжидатели, сколько каторжники. Достоевский как великий писатель — с "Записок из Мертвого дома" начинается. И насилие было — сквозное, и ложью сплошной прикрывалось, и от ЭТОГО возникло гоголевское безумие Руси, и щедринская горчица, прямо выработанная из губернского начальственного бессилия. А что Матрениной святости не видели — так нет, видели, только с одною святостью не поднять было бы ни Сибири, ни России. Конечно, без святых не стоит город, но не святые же строят его, святые только терпят, да о Боге напоминают, да от грубости жизни в скиты бегут, под сень...

Ох, что это я? Подействовал Сокуров. Зацепило: спорить, сопоставлять, не поддаваться. Как будто не на экране герой, а тут, рядом. Так великое кино становится соразмерно своему объекту. Величие не опускается сверху и не выставляется пунктом программы, а возникает "непроизвольно".

Диалог вочеловечивается:

— Александр Исаевич, как вы чувствуете: ваша душа старше вас или моложе?

Тот задумывается.

— Трудный вопрос...

И после паузы:

— Не могу ответить.

На этой безответности Александр Сокуров кончает вторую серию своей дилогии "Узел", оставляя развязывать этот узел нам, зрителям и читателям.